

ФОРУМ

Опубликованные в «Литературном факте». 2016. № 1–2, «насущенные заметки» С.И. Николаева «О филологическом методе» вызвали живую реакцию коллег. В этом номере представляем два из полученных откликов, рассчитывая продолжить обсуждение в ближайших номерах и на сайте журнала (www.litfact.ru).

К вопросу о филологическом методе: По поводу статьи С.И. Николаева¹

А.М. Ранчин

Андрей Михайлович Ранчин, д.ф.н., проф. МГУ им. М.В. Ломоносова;
e-mail: aranchin@mail.ru

Статья С.И. Николаева интересна смелой постановкой проблемы, о которой в последнее время рассуждать не принято, — проблемы метода в историко-литературных штудиях. Автор приводит замечательный анекдот в старинном смысле слова — историю о том, как оксфордский филолог-классик Мартин Уэст поведал молодому собеседнику о «британском филологическом методе», заявив: «А такого метода и нет: просто надо пользоваться тем, что лучше всего подходит для данной проблемы» (с. 372). Развивая мысль Уэста и напоминая о том, что эта же идея была ранее в более заостренной форме высказана Ульрихом фон Вилламовиц-Мёллендорфом, автор заключает: «Таким образом, главное в работе историка литературы — проблема, а уже она определяет методы ее решения» (с. 372). С этой мыслью нельзя не согласиться. Однако уже сами определение, постановка проблемы предполагают теоретическую презумпцию, теоретическое обоснование. Что, казалось бы, проще таких понятий, как литература и жанр? Но вот Ю.Н. Тынянов статью с красноречивым названием «Литературный факт» начинает вопросами: «Что такое литература? Что такое жанр?»² Без ответа на эти вопросы никакое полноценное историко-литературное исследование невозможно — ибо неясно, что является *литературным фактом* в той или иной литератур-

¹ Николаев С.И. О филологическом методе (насущенные заметки) // Литературный факт. 2016. № 1–2. С. 370–379. Далее при цитировании страницы указываются в тексте статьи.

² Тынянов Ю.Н. Поэтика. История литературы. Кино / Изд. подгот. Е.А. Тодес, А.П. Чудаков, М.О. Чудакова. М., 1977. С. 255.

ной системе, а что нет. Но если при решении частных проблем рефлексия по поводу метода не всегда очевидна и даже не всегда ясна (подход может негласно приниматься как данность), то при попытках создания историй литературы размышления о методе окажутся неизбежными.

Развивая свою идею, С.И. Николаев утверждает: «Вывод, к которому я так долго подводил, вполне ожидаем: главное в работе историка литературы не методология как таковая, а научная проблема. Размышление над проблемой приводит к фактам и к путям решения проблемы. Если же исследователь — особенно начинающий — идет не от проблемы, а от методологии, то довольно часто мы получали и получаем бесконечные хронотопы, интертексты, “локальные тексты” и проч. А вот ценность таких работ далеко не однозначна. И М.М. Бахтин, Ю. Кристева или В.Н. Топоров в этом никак не повинны» (с. 374).

С идеей, здесь высказанной, спорить, как я уже заметил, нельзя. Вывод об опасности, которой чревата подгонка многообразного, красочного, живого мира литературных текстов под готовые понятия и концепции, тоже неоспорим. Впрочем, вынужден признаться: мне пришлось не раз грешить использованием понятия интертекст. И вообще, все мы вышли из аристотелевского гиматия, так что же — теперь из-за этого стилосы ломать? В заимствовании терминов самом по себе никакой опасности нет. Нужно лишь помнить об их исконном значении и его сохранять (или честно оговаривать внесенные изменения). В заимствовании хронотопа или интертекста я ничего страшного не вижу. Другое дело, всегда ли эти заимствования уместны и необходимы³. Но совсем плохо оказывается, когда исследователи начинают оперировать понятием, имеющим в системе идей ученого — его изобретателя совершенно особенный смысл и релевантным только в границах этого семантического поля, а за его пределами лишаящимся не только определенного значения, но порой и какой бы то ни было семантики. Именно так, на мой взгляд, произошло с бахтинской *полифонией* и с его же *мениппеей*. «Как известно, глубокомысленные размышления М.М. Бахтина возвели слово “мениппея” в ранг важнейшей историко-литературной универсалии, более того, историко-литературной категории, если не понятия из области философской антропологии. Получилось нечто в высшей степени яркое, интересное, но отрыв от античного словоупотребления, уже

³ Можно вспомнить, например, что К.Ф. Тарановский и его последователи (О. Ронен, Г.А. Левинтон и др.) обходились старым и вроде бы нетерминологичным понятием подтекст, а Д.С. Дихачев и Ю.М. Лотман анализировали время и пространство в их единстве в фольклоре, древнерусской словесности и прозе Гоголя, не прибегая к такому «бахтинизму», как хронотоп.

начатый в профессиональной сфере классической филологии завершился окончательно. Оказывается, например, что “жанр” мениппей существовал задолго до Мениппа и что единственная конкретная особенность формы, которую имел в виду Варрон, — свободное чередование стихов и прозы — совершенно не является необходимым признаком мениппей. [...] Нет никаких оснований корить замечательного отечественного мыслителя; переосмысление, которому он подверг старое слово, само по себе столь же законно, как законно говорить о “трагическом начале” в жизни и культуре, не думая о жанре трагедии в античной литературе со всеми приметам этого жанра. [...] Метафора может быть полна смысла, и смысл ее может иметь конкретное отношение не только к предмету философии, но даже к предмету теории литературы — только ее нельзя понимать буквально. Разница, однако, в том, что если мы вполне ясно знаем буквальное содержание термина “трагедия”, то термин “мениппей”, как кажется, наиболее плодотворен как метафора. Его исторически верифицируемое содержание исчезающе мало, богаты лишь его побочные, ассоциативные коннотации»⁴.

Что касается бахтинской полифонии и топоровского текста города (собственно, Петербургского текста), то создатели этих понятий жестко оговаривали их плодотворность и применимость, соответственно, только к творчеству Достоевского и к пласту семантически и структурно сходных произведений, посвященных «граду Петрову». Так что неудачливые эпигоны Бахтина и Топорова попросту нарушили запрет творцов-основателей. (Впрочем, никакой полифонии в предложенном Бахтиным смысле нет и у автора «Преступления и наказания» и «Бесов», в то время как Петербургский текст — это действительно некая семантическая реальность, но сути дела это различие не меняет.)

Но и случай с полифонией и мениппеей, и неумное и неосторожное обнаружение «локальных текстов» повсюду, где имеются локусы, не имеют отношения к «злоупотреблению» методологией. Понятия, здесь упомянутые, характеризуют не некие метод Бахтина или метод Топорова, то есть не теоретически отрефлектированные подходы, характеризующиеся терминологическим исследовательским языком и выделяемым объектом, а нечто принципиально иное — конкретные концепции. Бахтинский «дискурс», когда он пишет не о типах слова в тексте, а о полифонии и мениппее, является не филологическим (то есть научным или претендующим на научность хотя бы в смысле *Liberal Arts*), а фило-

⁴ *Аверинцев С.С.* Жанр как абстракция и жанры как реальность: диалектика замкнутости и разомкнутости // *Аверинцев С.С.* Риторика и истоки европейской литературной традиции. М., 1996. С. 201.

софским. Топоров использует различные методы и прикладные методик, при том что в целом его подход, конечно, имеет мало общего с структурально-семиотическим методом так называемой тартуско-московской школы, к которой создатель концепции Петербургского текста формально принадлежал⁵.

Метод, если подразумевать под ним концептуально осмысленную систему приемов анализа и/или интерпретации, а также выработанная в рамках этого метода терминология не создается *ad hoc* и не могут быть индивидуальными, даже если у них есть автор. Метод и термины воспроизводятся, становясь общим достоянием, и при этом не теряют изначальной эвристической силы. Понятия код, оппозиции и структура сохраняют свою плодотворность и после Ю.М. Лотмана или Р. Барта — мера этой плодотворности зависит лишь от таланта позднейших исследователей. (Впрочем, сами эти термины, как известно, перекочевали в филологию и историю культуры из теории информации и лингвистики.) Материал, прием и даже остранение/остранение уже не обязательно ассоциируются с работами В.Б. Шкловского и других участников ОПОЯЗа.

Итак, несомненно, что метод для историка литературы — явление прикладное. Однако именно «открытие», формирование метода может дать сильнейший импульс развитию филологических дисциплин, в том числе истории литературы. Методологический (словечко «казенное», но без него здесь не обойтись) прорыв, который совершил ОПОЯЗ на рубеже 1910–1920-х годов, позволил во многом совершенно по-новому описать многие жанры и феномены литературы (торжественную оду, пародию, структуру сюжета), творчество отдельных писателей (Лермонтова, Льва Толстого и др.), соотношение художественных произведений и реальности, а также отдельные этапы в развитии литературы (например, борьбу «архаистов» и «новаторов» в первые десятилетия XIX века). Формалисты, естественно, начинали не с чистого листа, причем в отдельных случаях вклад исследователей более раннего времени, которых они повторяют и продолжают, оказывается весьма существенным. Тем не менее метод ОПОЯЗа позволил совершить подлинную революцию. Стало ясно не только, как сделана «Шинель», но и как сделана литература — даже если иные заключения оказались наивными и поспешными. Соответственно, и катастрофа, постигшая это течение научной мысли на рубеже 1920–1930-х годов, была вызвана не одними внешними факторами, диктатом со стороны власти, но и кризисом метода:

⁵ Работы В.Н. Топорова в значительной степени (хотя отнюдь не целиком, конечно) относятся к текстам философского, а не научного типа. См. об этом: *Ранчин А.М.* Филология или философия? В.Н. Топоров и изучение древнерусской агиографии // Россия XXI. 2011. № 1. С. 140–151.

решение вопроса о соотношении литературы и внелитературных рядов или оказалось для опоязовцев непосильным, или предлагалось ими за пределами установок формального метода.

Вместе с тем, он, по признанию одного из создателей, складывался во многом именно как явление прикладное, как система приемов, позволяющих описывать и анализировать литературу в ее специфике, в ее литературности: «Так называемый “формальный метод” образовался не в результате создания особой “методологической” системы, а в процессе борьбы за самостоятельность и конкретность литературной науки. Понятие “метода” вообще несоответственно расширилось и стало обозначать слишком многое. Принципиальным для “формалистов” является вопрос не о методах изучения литературы, а о литературе как *предмете* изучения. Ни о какой методологии мы, в сущности, не говорим и не спорим. Мы говорим и можем говорить только о некоторых теоретических принципах, подсказанных нам не той или другой готовой методологической или эстетической системой, а изучением конкретного материала в его специфических особенностях»⁶.

Метод дал новое видение предмета, его утрата привела к размыванию фокуса. Так или иначе, на фоне блестящих опоязовских исследований позднейшие работы Шкловского, Тынянова и Эйхенбаума выглядят, несмотря на тонкие наблюдения, пронизательные идеи и богатство фактического материала, бледно и производят порой тяжелое и горькое впечатление.

Аналогичный пример — структурально-семиотический метод в отечественной филологии. Начало 1960-х годов было обретением новой перспективы. Метод дал систему приемов для анализа и терминов — для описания. Сравнение работ Ю.М. Лотмана, созданных до этого времени и написанных после, обнаруживает, сколь разительным было движение вперед, обретение новых идей и интерпретаций. Открытия, подаренные структурализмом, можно проследить даже в популярных работах Лотмана по истории литературы и культуры, в которых специальная терминология не используется.

Конечно, методология в работах может быть эксплицитной (в этом случае автор прямо объявляет о своем подходе и о своих инструментах), а может быть и неявной. С.И. Николаев признается, что его учитель А.М. Панченко «за четверть века никогда не вел» с ним «разговоров на темы методологии. Иногда он мог иронически высказаться о двух самых популярных в последней четверти XX в. теориях, его ирония была вызвана тем, что эти теории претендова-

⁶ Эйхенбаум Б. Теория «формального метода» // Эйхенбаум Б. О литературе: Работы разных лет / Сост. О.Б. Эйхенбаум, Е.А. Тоддес; вступит. ст. М.О. Чудаковой, Е.А. Тоддеса; коммент. Е.А. Тоддеса, М.О. Чудаковой, А.П. Чудакова. М., 1987. С. 375.

ли на объяснение всего» (с. 370). Одна из двух неназванных теорий это, конечно же, структурализм. В 1983 г. была издана работа, написанная А.М. Панченко в соавторстве с Б.А. Успенским — одним из наиболее убежденных и деятельных адептов структурально-семиотического метода, — «Иван Грозный и Петр Первый»⁷. Работа эта, которую можно было бы с полным основанием назвать пионерской, если бы это слово не склеилось навсегда с образом молодого племени в красных галстуках, открыла в, казалось бы, безумных, иррациональных деяниях первого русского царя достаточно четкую систему смыслов, связанных с представлением о собственной религиозной роли и окрашенных эсхатологически⁸. Действия Ивана Грозного, его распоряжения, кощунственные обряды, изощренные казни — все это было прочитано как особого рода текст, содержащий символический код. Обоснования метода, равно как и структурально-семиотической терминологии, здесь нет. Но для того чтобы увидеть этот феномен, требовалась именно оптика, даруемая этим методом, — для А.М. Панченко, таким образом, далеко не безразличная и оказавшаяся необычайно полезной.

Обычная в истории науки ситуация — когда прежний метод становится фактической данностью, частью подхода, принимаемого автоматически. Для современной филологии историко-литературный подход — данность, а не метод, не предмет рефлексии и выбора. Между тем для филологии первых десятилетий XIX века это был именно концептуальный выбор, подход, требовавший обоснования⁹. (В условиях торжествующего постмодерна, подмывающего основания историзма, этот подход может опять потребовать аргументации в защиту.)

Отдельный и очень интересный вопрос — метод вокруг и после метода. Катрин Депретто в предисловии к своей книге о русском формализме пишет: «Важнейшую роль для развития литературной теории сыграл формализм, существование которого обычно ограничивают периодом с 1915 по 1930 год и который обычно связывают в первую очередь имена Виктора Шкловского (1893–1984), Бориса Эйхенбаума (1886–1959), Юрия Тынянова (1894–1943),

⁷ Панченко А.М., Успенский Б.А. Иван Грозный и Петр Первый: концепции первого монарха. Статья первая // Труды отдела древнерусской литературы. Л., 1983. Т. XXXVII. С. 54–78.

⁸ Ср. развитие этих идей в позднейших работах других ученых: Юрганов А.Л. Категории русской средневековой культуры. М., 1998; Булычев А.А. Между святыми и демонами: Заметки о посмертной судьбе опальных царя Ивана Грозного. М., 2005.

⁹ В России он требовал такого обоснования еще для С.П. Шевырева — автора «Истории поэзии» (1835), «Теории поэзии в историческом освещении у древних и новых народов» (1836) и четырехтомной «Истории русской словесности» (1846–1860).

Бориса Томашевского (1890–1957), Осипа Брика (1888–1945), Романа Якобсона (1896–1982), Григория Винокура (1896–1947), Бориса Ярхо (1889–1942), а также Виктора Жирмунского (1891–1971) и Виктора Виноградова (1894–1969)»¹⁰. Из перечисленных филологов далеко не все состояли в ОПОЯЗе, метод Б.Н. Ярхо разительно отличался от опоязовского, а В.М. Жирмунский был в числе критиков формализма, хотя и использовал приемы анализа, родственные ОПОЯЗу. Тем не менее некоторые основания — не только чисто хронологические — поставить в один ряд этих исследователей, очевидно, есть — определенная методологическая близость их работам присуща.

Не менее интересен вопрос о преемственности по отношению к формальному методу работ, написанных уже после смерти формальной школы учениками отцов-основателей ОПОЯЗа — прежде всего, Л.Я. Гинзбург и Б.Я. Бухштабом. Какими «прикровенными» чертами они обязаны формальному методу? Но такой вопрос правомерен и по отношению к работам авторов последующих поколений, ориентированных на идеи и подходы формалистов, хотя эта установка по внелитературным причинам осталась скорее латентной, чем открыто декларируемой¹¹.

С.И. Николаев упоминает исследования по истории культуры, типологически родственные «микроистории» Карло Гинзбурга, но не содержащие отсылок к его методу и написанные без его влияния, иногда задолго до появления трудов западного антрополога. Справедливости ради стоит заметить, что подразумеваемые здесь работы — «Люди и нравы Древней Руси» Б.А. Романова (1947) и, очевидно, «Русские народные социально-утопические легенды XVII–XVIII вв.» (1967) К.В. Чистова и «Русская культура в канун Петровских реформ» (1984) А.М. Панченко — филологическими не назовешь: Чистов и Панченко анализируют ментальность, а Романов, прежде всего, воссоздает саму повседневную жизнь. Для Романова смысл, интенции авторов древнерусских текстов не столь важны, как свидетельства и «проговорки» о быте и нравах — о том, что утаить не получилось. Отнесение этих текстов к филологии, как представляется, свидетельство, что рефлексия о предмете и методе действительно насущна.

Не думаю, что «микроистория» Карло Гинзбурга¹² будет особенно полезна историку литературы. Для филологии аналогом

¹⁰ *Депретто К.* Формализм в России: Предшественники, история, контекст / Авториз. пер. с франц. В. Мильчиной. М., 2015. С. 5.

¹¹ Один из примеров — книга А.П. Чудакова «Поэтика Чехова» (1971).

¹² Ни само понятие микроистория, ни идея микроисторического подхода не принадлежат, впрочем, Карло Гинзбургу; мало того, его собственный подход не поддается строгой формализации; не случайно С.Л. Козлов сравнивает его с бахтинским подходом: *Козлов С.* «Определенный способ зани-

«микроистории» будет пристальное чтение и столь же пристальное комментирование — процедуры абсолютно необходимые, но вполне традиционные и рутинные¹³. Гинзбургская уликовая парадигма¹⁴ и анализ в тексте индивидуальных примет-симптомов небезразличны в филологии для атрибуции и датировки, а отчасти и для характеристики индивидуального стиля — всё так. Но итальянский антрополог и историк культуры не случайно сближает этот метод с фрейдовским психоанализом. А психоанализ, хотя и может проводиться на материале литературных произведений (его адекватность и результативность в данном случае — вопрос иной), никакого отношения к филологии не имеет. Потому что текст для него — повод для узнавания чего-то другого, смысл текста, соотносящийся с интенцией автора, здесь обычно неважен или осознается как искажающий информационный шум. Так и Карло Гинзбург стремится пробиться через то, что автор хотел сказать, к тому, что сказалось. (Для Гинзбурга это будут непосредственно не выраженные, не вербализованные представления и ценности, характеризующие автора, социальную группу, эпоху.) Еще одним аналогом будет, очевидно, деконструкция Жака Дерриды — вещь модная, но для истории литературы вредная.

Проведенный С.И. Николаевым «микроисторический» анализ упоминаний о курочке из Жития Аввакума по-своему замечателен, однако балансирует на грани высказанного в тексте смысла (который только и должен волновать филолога¹⁵) и скрытого за ним эмоционального мира автора. Если же обратиться к такому довольно новому для гуманитарного знания предмету, как история эмоций, то здесь окажутся более нужными другие работы¹⁶.

В заключение остается только поблагодарить автора, написавшего текст, который вызвал эти разрозненные размышления.

маться наукой»: Карло Гинзбург и традиция // Гинзбург К. Мифы – эмблемы – приметы: Морфология и история. Сборник статей / Пер. с ит. и послесл. С.Л. Козлова. М., 2004. С. 323.

¹³ Ср. о «микроистории»: Гинзбург К. Вместо заключения. Микроистория: две-три вещи, которые я о ней знаю // Гинзбург К. Мифы – эмблемы – приметы. С. 288.

¹⁴ Гинзбург К. Приметы. Уликовая парадигма и ее корни // Гинзбург К. Мифы – эмблемы – приметы. С. 189–241.

¹⁵ Если, конечно, понимать филологию как «службу общения», задача которой — понять, что хотел сказать на своем языке «собеседник» — автор текста. Ср.: Гаспаров М.Л. Критика как самоцель (для дискуссии о литературных репутациях в журнале «НЛО») // Гаспаров М.Л. Записи и выписки. М., 2000. С. 110–111.

¹⁶ См. о них: Зорин А.Л. Появление героя: Из истории русской эмоциональной культуры конца XVIII — начала XIX века. М., 2016. С. 12–60.